

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Михаил ЛОБАНОВ

ОБОЛГАННАЯ ИМПЕРИЯ

«На территории СССР экономически оправдано
проживание 15 млн. человек».

М. Тэтчер

«Знание о социальном неравенстве есть знание
высокое, холодное и гневное».

А. Блок

«Любовь к истине, любовь к своему народу и
земле делают борьбу обязательною...

Или мы уже разуверились в том, что России
много дано и предназначено?»

И. Аксаков

Старая гвардия

Михаил Лобанов

Оболганная империя

«Алисторус»

2008

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

Лобанов М. П.

Оболганная империя / М. П. Лобанов — «Алисторус»,
2008 — (Старая гвардия)

ISBN 978-5-9265-0535-8

Без малого два десятка лет продолжаются реформы в России, которые пока ни к чему хорошему не привели, проблем не поубавили. И нет надежды, что все закончится благополучно и страна вздохнет с облегчением. В самом деле: на оплевывании прошлого не построить светлого будущего. Таких примеров история не знает. А между тем, в советской эпохе были Блок, Есенин, Маяковский, Шолохов, Платонов, Леонов... А теперешняя «демократическая эпоха» — что дала? Михаил Лобанов, выдающийся писатель нашего времени, автор замечательных книг об А.Н. Островском и С.Т. Аксакове, документального сборника «Сталин», из поколения победителей. По словам Александра Проханова, «это они прошли войну, они восстанавливали державу, они творцы советского величия, и сейчас они несут ответ этого столь необходимого нам в будущем величия». В далеком 1982-ом знаменитая статья Лобанова «Освобождение» наделала много шума, не дала спать спокойно космополитам от Политбюро ЦК КПСС. И новая его книга «Оболганная империя» — о непрекращающейся борьбе за Россию, за ее настоящее и будущее, где поле битвы — сердца миллионов.

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

ISBN 978-5-9265-0535-8

© Лобанов М. П., 2008

© Алисторус, 2008

Содержание

От автора	7
Просвещенное мещанство	8
Освобождение	16
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Михаил Лобанов

Оболганная империя

© Лобанов М.П., 2008

© ООО «Алгоритм-Книга», 2008

От автора

Из этой книги читатель может узнать, что до сих пор не прекращаются в литературной печати нападки на мою статью «Просвещенное мещанство», появившуюся сорок лет тому назад в журнале «Молодая гвардия» (1968, № 4). А в своих мемуарах «Бодался телефон с дубом» А. Солженицын, цитируя отдельные места из названной статьи, выводит из термина «просвещенное мещанство» свою «образованщину», кроме того, сомнительно зачисляет меня в разряд потенциальных жертв ГУЛАГа. Всякой революции предшествуют в обществе сдвиги, коллизии духовные. Так воистину перманентная «перестройка-революция», сокрушившая наше великое государство, терзающая нынешнюю Эрефию-Россию, вобрала в себя вирусы хрущевской «оттепели», из «детей XX съезда» вылупились Горбачевы – ельцины. В середине 60-х годов очевидно определились полярные силы – либерально-космополитические и национально-патриотические, вступившие между собой в идеологическую войну. И речь в моей статье «Просвещенное мещанство» шла о внедрении космополитами в массовое сознание духовных миазмов «нигилятины» (Достоевский), одержимости низвести все высокое, великое до уровня моды, пошлости, превратить человеческую индивидуальность в стереотип буржуа-мещанина. Речь шла об опасности всенивелирующего американизма («Рано или поздно, – говорилось в моей статье, – смертельно столкнутся между собой две непримиримые силы – нравственная самобытность и американизм духа»). О другой моей статье (написанной по поводу романа М. Алексеева – о голоде в Поволжье в 1933 году) было принято осуждающее решение ЦК КПСС (дек. 1982).

И вот то, что в 60-х годах в «Просвещенном мещанстве» было только симптомом буржуазно-мещанского вырождения «образованного человека», ныне восторжествовало разнузданностью культа наживы, кровавыми разборками в захвате общенародной собственности, волчьей идеологией с правом сильного уничтожать слабого обездоленного, аморализма.

И то, что в упомянутом решении ЦК КПСС «освещалось» лозунгами марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, ныне обернулось невиданным цинизмом оборотничества, предательства.

Трагедия России – в нашем неведении, непонимании того, что происходит в стране. Поэтому у наших врагов развязаны руки – душить нас, громить страну.

Великий русский патриот Иван Сергеевич Аксаков в своей статье «В чем недостаточность русского патриотизма» пишет: «время и обстоятельство требуют от нашего патриотизма иного качества, нежели в прежние годы народных бедствий», что «надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. – М.Л.), но и головой», то есть пониманием происходящего; воевать «не одним оружием военным, но и оружием духовным; не только против видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов». Поймем ли мы это наконец.

Просвещенное мещанство

Расскажу пустячный случай. Как-то присел я на скамейку пробежать газету во дворе нашего огромного московского дома. Вдруг откуда-то сверху: что-то магнитофонно-стегающее, с гнусавинкой. Гляжу – неподалеку скамейка, сидят женщины. Кто вяжет, кто разговаривает, кто с ребенком сидит – и все ногами работают, в такт грянувшей из окна музыки. Сначала смешно показалось – не видят сами, как все одновременно притопывают. А потом стало жутковато – что-то стадное было в этом слепом притопывании. Это пожилые-то так заработали. А какой-нибудь вертун вовсе задрожит при звуках этих с гнусавинкой...

Есть над чем задуматься: в душе иного молодого человека еще никакой опорной точки, а его со всех сторон облепляют – и выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство, и телевизионная суета, и нечто эстрадно-зазывное, и какая-то павильонная беготня кинофильмов. От всего этого пестрит в глазах, дразнят простенькие желанья.

К тому же могут быть разные сюрпризы. Вот, например, где-то на вечеринке под бутылочное настроение прокручивалась песенка о троллейбусе, подбирающем ночью «потерпевших крушение». Гитарно-гуманная песенка. А вскоре, скажем, тот, кто слушал ее на вечеринке, наталкивается в газете на такую заметку:

«Вы написали, что фильм «был встречен прохладно и поэтому, очевидно, недолго продержался на экранах...»

Что же касается «прохладного приема», то скажу Вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны.

Должен признаться, что мнения крайне противоположны: как положительные, так и отрицательные, но ни одного «прохладного»...

Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она Вам не доверяла, чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом.

Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинематографистов СССР, чтобы и там познакомились с Вашими дурными манерами. Примите уверения и проч.

Булат Окуджава.

(Газета «Труд» от 1 декабря 1967 г.)

Вся эта «лирика» вызвана тем, что женщина-рецензент осмелилась заметить, что фильм «Женя, Женечка и Катюша» (одним из авторов сценария которого является Окуджава) «прохладно» встречен зрителями. Молодой поклонник песенки о троллейбусе, прочитав эту заметку, не подумает ли вот о чем: а-я-йя, такая чувствительная песенка, а какое письмецо! Ну дело ли стихотворца – ни за что ни про что угрожать судом? Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...

Так вот, наш молодой человек должен быть продуктом довольно сложного сцепления, чтобы выработалось в нем то, помните, стадное притопывание. Мещанство свое дело делает, не отставая от века. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке – пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т. д.

Такое просвещенное мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого с его ненаучным утверждением: «Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах – это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, – это трудно, ужасно трудно».

Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским все, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеить особым словом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека: Руссо – «руссоизм», Толстой – «фатализм», Есенин – «есенинщина» и т. д.

У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – все мини. И Родина для них – мини. И дружба народов – тоже. Только разлагатели национального духа народов могут не желать этой дружбы.

Мини торжествует. Посмотрите, что делается порою в нынешней критике – достаточно чихнуть, чтобы тем самым вызвать многомесечную дискуссию. Чих отвлекает – в этом, видимо, и его привлекательность. Но за этим чихом и другой расчет: можно, конечно, допустить самое невинное – любыми способами войти в «историю литературы», примазываясь к истории великого народа. Но наивно так думать. Отвлекусь и сам от разлагающей угрозы мини. Лучше вспомню знакомого (по рассказам земляков) стародавнего деревенского мужичонка по прозвищу Кадык. Выходил он из дому и спрашивал на народе свою жену:

«Мать, ты мясо-то вынула, погляди, не перепреет?» – «Кады-ык, мяса-то еще нету его».

Очень уж хотелось Кадыку похвалиться своим достатком, которого у него никогда не было. Не так ли и иные критики хотят больше «выдать», чем имеют за душой? Но ведь и то верно, что Кадык только в глазах самого себя мог быть богаче.

Если бы у этих мини была только бесхитрость Кадыка!

* * *

Вот, например, небезызвестный чеховский профессор Серебряков. Все-то свои годики «герр профессор» перегнал на ученые рассуждения о красоте, ровным счетом ничего не понимая в ней. Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-то знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что – по-прежнему он заведует кафедрами, «с надменным видом» изрекает ученые пошлости, пишет никому не нужные «труды», величаво заседает, подписывает юбилейные «адреса» и т. д. Как говорит один герой у Бальзака: «Я посредственность, следовательно, я могу добиться всего, чего захочу». Серебряковы и в самом деле могут всего добиться, кроме одной лишь мелочи – оживить свою «ученость» хотя бы одним живым, творческим словом.

А моральная ценность этих светил? Увы, самого квелого сорта. При величавой-то осанке да душу бы «адекватную», как любят говорить эти ученые люди. Нет этого. Вот помните, как стоически переносил свои старческие недуги профессор Серебряков? Вот оно, это мужество в присутствии молодой жены нашего ученого:

«Серебряков. Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть... Тебе же первой я противен... Конечно; ты права. Я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть».

Каков наш проповедник красоты?! А ведь в жизни этот и ему подобные не довольствуются смиренной ролью слабых – им подавай трибуну, откуда бы они гремели на весь свет. Да еще как гремят. Теща Серебрякова Мария Васильевна только и занята целыми днями тем, что читает «брошюры» обожаемого ею зятя-профессора. Для таких Марий Васильевн нет большего остроумия в мире, как шутка профессора: «Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания»; нет большей тонкости, как профессорские восклицания о природе: «Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды». И по-профессорски процветают на этих эффектах, на этой театральности. Выдающимися слывут из-за одной своей осанки или голосовой сгущенности.

Сознательно или бессознательно, но Чехов подметил страшный психологический симптом – духовное вырождение «образованного» человека, гниение в нем всего человеческого – так сказать, в блеске интеллектуальной синтетики. Расплодись повсеместно серебряковщина – не из чего было бы развиваться роду человеческому. Никакого здесь идеала, никакого намека на самопожертвование, ничего естественного. Фразы, фразы... Вот недавно за границей был очередной симпозиум – сколько речей было там произнесено на тему: может ли творить художник, когда на его глазах умирает с голоду ребенок? Писали в газетах, что весьма интересная была дискуссия. Но можете вы представить себе, чтобы «дискутировали» на эту «тему» Достоевский или Л. Толстой?

Элегантно облаченные в сплошной прогресс, все эти любители симпозиумов искреннейшим образом убеждены, что вокруг их пупа крутится человечество и сама земля. Вы помните «талантливую и многотимую» либерала Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов» Достоевского, который до «страсти» любил «гражданскую роль». Помните, как он написал нечто смелое – поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал. Эту поэму вдруг печатают «там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло».

Ясно, что наш смелый Степан Трофимович преувеличивал свою гражданскую роль, вряд ли кому было дело до него, хотя он «искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше, и прежде всего при сдаче губернии».

Чтобы полнее представить себе значительность Степана Трофимовича, напомним, что он защитил блестящую диссертацию о «возникшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами». Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: «я... всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель»; «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей «гражданской роли» – по многосторонности своей натуры. Пойдут труды соответственные – с надлежащей фразеологией и неусыпными ссылками. Где-то я читал, как ответил на высочайшее пожалование крепостными один благородный человек: «Куда уж мне до чужих душ, когда и со своей собственной я не умею справиться». Вот такое самоумаление уж никогда не придет в голову «досточтимым» прогрессистам. Они убеждены, что им под силу справиться с таким количеством душ, сколько их в человечестве. Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них – это провинциально.

При образованности-то всеевропейской вдруг такой анахронизм. Что скажут европейские коллеги по всемирному интеллектуальному прогрессу? Образованность слово магическое и всеспасительное. Как же можно представить себе профессора Серебрякова или Степана Верховенского без этого отличия? И культура без них зачахнет. Кто же будет говорить о ней на конгрессах, симпозиумах? Но сами они считают, что не только говорят о культуре, но и делают ее. Заодно с Достоевским – ибо у него и у них, «интеллектуалов», один и тот же «круг идей». Тайна искусства, стихия народной жизни, порождающая подлинную культуру, как море жемчужину, все это, конечно, к делу не относится.

Видимо, есть какая-то роковая дисгармоничность между внутренней ценностью человека и его местом в мире. Мещане часто артистичны, форма у них не только что-то скрывает, но и в какой-то мере поглощает внутренние разрушительные силы. Творческие цели, самоуглубление этим силам неведомы – так они разряжаются смертельной практической хваткой. Это колоссальнейшая энергия, которой хватает и на самопожирание и на торжество. Если не в глубь – то вперед, во все стороны пространства!

Точно так же как выстраданное слово русских художников-классиков рождено страданием и борьбой народа, так истинная культура исходит из недр народного опыта. Даже музыка, которую называют наиболее «общечеловеческим» видом искусства, не оторвана от национальных истоков (хотя бы и духовные кантаты Баха, впитавшие в себя многое из немецкой средневековой музыки). Культура – растение органичное, немислимое вне народной почвы. Но плодородие этой почвы непостоянно, оно зависит от исторических обстоятельств. И, конечно же, никакой разлив так называемой «высшей образованности» не заменит первоисточника культуры. В истории народов можно вспомнить периоды, когда задавленный, так сказать, необразованностью народ порождал через органы своего самосознания – национальных художественных гениев – непреходящие ценности культуры. Но вряд ли зараженная мещанством (даже и сплошь дипломированная) масса способна оставить по себе что-либо духовно-значительное. Самое прогрессивное умножение такой массы культуры никак не сулит. Здесь можно быть оптимистичным только на манер того зарубежного прогноза, который недавно был опубликован в «Литературной газете». «Ни прозорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственный контакт с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов...» Стало быть, не такое уж сложное дело – размножение художественных гениев. Это, так сказать, неизбежно-прогрессивное дело (уже по одному тому, что прошлое всегда и во всем хуже настоящего, а тем более будущего). Самоуверенность такого рационализма имеет давнюю историю. Может быть, наиболее разительный пример – как свора музыкантов после смерти Баха перedelывала его произведения, «поднимая» их на уровень «современного звучания». Бах был для них «неотесанным». У нас в России в 20-х годах много пришлось повозиться с русскими классиками режиссеру Мейерхольду: только после основательной перекройки их книг, урезывания всего «неотесанного» и приклеивания нового, «современного», эти писатели обретали «достойный» голос.

Казалось бы, ведь страшно подумать: сама тянет в себя непостижимая глубина; неужели же можно, стоя у этой пропасти, примериваться аршином, дабы одеть эту бездну в некий современный костюм?

Кстати, вот тема для будущего исследователя: с какой целью так методически выхолащивалось на сцене (и не только на сцене) слово русских классиков? Кое-что может пояснить письмо научного работника В. Труханова о постановке А. Эфросом чеховских «Трех сестер» на Малой Бронной (газета «Советская Россия» от 13 февраля с.г.): «... огромная тахта на авансцене – эмблема спектакля. Чуть ли не все герои побывали на этой тахте. Чего только на ней не происходит: и валяются от безделья, и целуются, и бьются в истоме, когда играет молодая кровь... В чеховской пьесе – твист. Это ли не фиглярство?..

В театре на Малой Бронной чуть не каждую неделю перед сотнями людей звучат монологи «офицеров» Тузенбаха и Вершинина о будущем, о том, что оно будет прекрасным, о том, что ради него лишь и стоит жить. Эти монологи произносятся в таком саркастически-издевательском тоне и над Чеховым, и над теми, кто верит в это, с такими марионеточными подергиваниями и ужимками, что о какой-либо преемственности поколений, взаимном обогащении не только говорить – думать неловко. Зато какой – эффект все наоборот!..

Кто следующий подвергнется экзекуции?.. Пушкин, Горький, а может быть, Тургенев или Островский?»

Автор письма спрашивает: «Какие идеалы вы несете взамен ниспровергаемых? Пока налицо только разрушение». Виден ли конец этому разрушению?

И как же заразителна «культурная» эlegantность! В самом деле, если мы умнее (потому что современнее) наших предков, если скоро будет преизбыток Моцартов (всех даже невозможно будет приметить), то что нам какой-то прошлый Моцарт! Насколько беспредельны наши прогрессивные возможности, можно судить, например, по такому отношению к красоте. Один философ первых веков нашей эры отмечал в красоте ее «способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый» (привожу слова одного историка). Гете считал, что красота может быть только преходящей. Две бездны – Мадонну и Содом, божественное и дьявольское видел в красоте Достоевский. А мы сейчас куда основательнее проникаем, исчерпывая это понятие красивым ширпотребом.

Можно писать диссертации о красоте; одеваться красиво, то есть модно; сидеть в красивом ресторане, красиво выпивая и покуривая; прищуривание, эрудированные разговоры, тонкость намеков – все распрекрасно. Но так все это пестрит, мельтешит, что, как ни старайся наедине, ни за что не соберешь эту воздушную красоту в какую-то одну точку, которая хоть чем-то задела бы душу. Пыль какая-то.

Смеяться разучились. Смотришь: здоровый мужик, добродушнейшая физиономия – думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтиво-чичиковское, что тошно становится. Иначе нельзя – так принято, так культурно. А если мы вернемся к профессору Серебрякову, то здесь ни один шаг не обходится без «культуры», не говоря уже об его важном писании. Конечно, Серебряковых ничем не проймешь, они ни на минуту не сомневаются в историческом значении своих унылых монографий, но все-таки я приведу слова Фейербаха: «И подобно тому как ценность и содержание жизни не определяются количеством лет, так и ценность и содержание сочинения не определяются количеством листов. Жизнь, заключенная в кратком афоризме, может скрывать в себе больше духа, смысла и даже опыта, чем жизнь, многословно выраженная скучным профессорским или канцелярским стилем»

Это верно, что живет только то, где «больше духа» (не отраднo ли, не справедливо ли, что духовная значительность, выраженная в слове, не пропадает). Но верно и то, что это значительное может долгое время быть погребенным под корою незначительного, которое из-за своей доступности неистребимо.

Творческое требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело – видимость, форма «интеллектуального». Это уже всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений. В этой рационалистичности объединяется самая разноманная компания – от ученого схоласта до девицы с дипломом, которая обо всех новинках искусства может весь вечер щебетать.

* * *

Все на свете можно опошлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. В свое время Блок писал об интеллигентах-философах, ищущих бога с кафедры, в «людской каше», при обилии электрического света. Таким сытейшим ораторам как бы отвечал Чехов в одном из своих писем: если веры в истину нет, «то не занимать ее шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

Но в том-то и дело, что никак не могут «искать одиноко» эти динамичные деятели. Потому что осатанело крутятся в них цитатные и прочие «культурные» приспособления, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на размол побольше «проблем» всякого сорта – начиная от судьбы мировых цивилизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид Гл. Успенский с его болью – вот уж будет «блеск»!

Боль, «кровопролитная битва» на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы – все одинаковая пища для крутящегося внутри интеллектуального агрегата.

И самая смерть для таких счастливицев щенячье дело.

Говорят, что Моцарт умер вскоре же после «Реквиема» так он был потрясен сокровенной загадкой бытия, выразившейся в его «Лакримозе». Но вот я слышал, как говорил молодой музыкант, вернувшийся из Боткинской больницы, где только что умерла его жена: «Понимаешь, так хватала из кислородной трубки, сжимает ее, дергает, а у самой уже в это время окисление мозга начинается...» Ему бы бежать с этого шестого этажа, где он так расписывал смерть жены, чтобы в голове кровь с мозгами не перемешалась, чтобы не броситься самому из окна, а он так научно вникает... Как бы посмеялся этот любитель изящного, передай я ему рассказ моей бабушки о том, как умирала ее дальняя родственница: «Говорит всем: вы возьмите в руки свечи, зажгите их и мне одну дайте, чтобы я не в темноте пошла на тот свет, а с огоником».

Поделюсь наблюдениями. Иногда я хожу на кладбище Донского монастыря (от нашего дома поблизости). Не было еще дня, чтобы не слышал: «Скажите, а где могила Салтычихи?» Но не слышал ни разу: «Скажите, а где могила Чаадаева?» Или: «Где могила историка Ключевского»? Видимо, Салтычиха действует поострее...

Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим подтачиванием слепым или злобно-сознательным, мещанство не способно подняться повыше своих несложных (хотя и разрушительных) инстинктов. Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота. Для него «общие» идеи пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха. Чтобы что-то утверждать, нужна способность к творчеству. Поэтому мещанство так визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощреннейшие, эрудиция современнейшая вплоть до ссылок на зачатых зарубежных «друзей» и т. д. Это мещанство самая желанная почва для разлагателей народного духа.

* * *

Вообразите себе самочувствие Герцена, который покинул Россию ради «свободной речи» в Европе и вот в этой Европе начинает задыхаться от миазма буржуазной пошлости. Потом-то у Герцена вырвалось: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на Родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели».

Вообразите себе ужас Герцена, который бежал за границу, полный надежд и веры в европейское духовное процветание, и вот обнаруживается, что духовного-то процветания и нет, а есть «мелкая и грязная среда мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию», а есть лавочники, буржуа, безликая икра людская. Сколько ненависти в герценовских словах о буржуа, который «обрюзг, отяжелел», который «смеется над самоотвержением», каменея в «разврате самом гнусном». Катастрофично оскудение: «Все мельчает и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли... все нищают, не обогащая никого: кредита нет, все перебиваются со дня на день; образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими, никто не берет оседлости: все на время, наемно, шатко».

Можно представить себе такой вопрос Герцену со стороны воображаемого оппонента: «Вот вы говорите о русском народе, так сочувствуете ему за всякие там его страдания, но что будет, когда он достигнет благополучия, достигнет процветания? Вы уверены, что тогда-то, без голодухи-то повальной, без которой не обходились русские, ваш народ будет глубок духом? Будет готов к толчку для обновления человечества? Не проест ли его тля столь презираемой

вами буржуазности?» Герцен мог бы в ответ сказать: «Буржуазная Россия? Да минет Россию это проклятие!»

Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла еще в определенных формах, когда внутренние силы ее мощно бродят, пусть потенциально, тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как «единый индустриальный организм», где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция – вот словцо, которым эти ревнители «единого организма» хотели бы духовно просветить народы, зараженные национальным «анахронизмом». Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемещать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов, без всего этого груза куда успешнее будет регулирование «единым организмом». Ничего, что с такой «интеграцией» в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа.

Духовная сытость – вот психологическая основа буржуа, делающая его таким непробиваемо здоровым и в то же время неизлечимо больным. Для творческого человека нет, пожалуй, большего наказания, чем опуститься до этой духовной сытости, но буржуа иного состояния и не знает. Респектабельность вполне побивает в его глазах «юрродство какого-нибудь Белинского», нищенствовавшего всю жизнь, а перед смертью, в бреду, что-то кричавшего народу. Ну солидно ли? Или вот еще: дело ли этого ученого Ломоносова рассуждать о «сохранении и размножении российского народа»?..

Гражданская честь заливается жиром. Все бытие в пределах желудочных радостей: довольствуясь этим малым, мещанин только в этом рыгающем содержании и понимает мир.

То, что живот святость материнства, это совершенно ясно. Но есть и брюхо, о котором В. Гюго (по поводу Рабле) сказал: «Брюхо животное, это свинья. Один из отвратительных Птолемеев прозывался «брюхо». Брюхо для человечества страшная тяжесть: оно ежеминутно нарушает равновесие между душой и телом. Оно пятнает историю. Оно вместилище пороков. Аппетит развращает разумение. Похоть сменяет волю... Потом оргия превращается в кабацкий загул... Человек стал штофом водки. Внутренний поток темных представлений топит мысль: потонувшая совесть не может более подать знака пьянице-душе. Оскотение совершилось. Это даже уж и не цинизм: пустота и скотство. Диоген исчез: осталась только его бочка. Довершено. Ничего больше: ни достоинства, ни стыда, ни чести, ни добродетели, ни ума: животненное наслаждение напрямки, грязь наголо...

брюхо съело Человека. Конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал».

На застоявшуюся кровь буржуа куда острее действует «человечество», нежели местное «народ». Этому провинциализму он сумеет дать надлежащий отпор. Вроде таким вот допотопным словам Гоголя: «Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами». А ведь давно пора бы отшлифовать эту самую «внутреннюю стихию». Да и гостиница дело веселое и прогрессивное, способствующее общению и усвоению культуры...

Национальная культура для мещанства пустой звук. С одинаковым физиологическим напором будет оно говорить и о модном здании гостиницы, и о трагедиях в жизни народа. Первооснова всякого творчества – незримая связь с «телом народа» (употребляя известное выражение Маркса) столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолока. Нравственно-психологическая физиономия народа, его место в истории человечества – ведь это требует духовных поисков, к этому надо идти внутренне, самостоятельно...

... Этой зимой, в середине декабря, приехав в родную Мещеру, пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово (неподалеку от Спас-Клепиков). В деревне этой родился и жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же как в Спас-Клепиках о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов.

В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом (недавно отслужили в армии и все, то есть молодые мужья, вернулись домой).

О многом говорили. И вот в этом-то низеньком доме узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал, а говорил о нем его друг, тоже фронтовик и тоже прошедший войну до Берлина, Иван Макарович Марушкин. «Его оружие в Ленинграде в музее стоит. Награжден двумя орденами Славы, двумя Красной Звезды, всего двенадцать наград...»

А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался...

Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал: Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?

Журн. «Молодая гвардия», 1968

Освобождение

Голод 1933 года. Замалчивание его в официальной «исторической науке» и мистическая легенда о нем. Идеологическая обстановка в стране, когда писалась моя статья «Освобождение» по поводу романа М. Алексеева «Драчуны» – о голоде в Поволжье в 1933 году. Первый сигнал: в ЦК КПСС на совещании главных редакторов всех столичных изданий секретарь ЦК М. Зимянин осудил мою статью «Освобождение» в журнале «Волга», № 10, 1982. Отрицательная оценка генсеком Ю. Андроповым статьи «Освобождение» и решение секретариата ЦК КПСС по поводу ее (январь 1983 года). Советники Ю. Андропова в ЦК из числа западников-космополитов, «агентов влияния» – будущих «перестройщиков». Травля меня в прессе. Поддержка ряда писателей. Реакция в Литературном институте – ожидаемая и неожиданная. Мое выступление на Ученом совете Литинститута с объяснением моей позиции как автора «Освобождения». Обсуждение моей статьи на секретариате правления Союза писателей РСФСР (8 февраля 1983 года). Обличительные выступления на нем писателей-секретарей под предводительством С. Михалкова и под надзором цеховского цербера А. Беляева. Встречи с теми, кто меня громил. Зарубежные отклики на мою публикацию. Рецензия в японской газете «Асахи». Книга немецкого исследователя Дирка Кречмара «Политика и культура при Брежнев, Андропове и Черненко. 1970–1985 гг.». Поездка с М. Алексеевым в его родное село Монастырское, по местам его романа «Драчуны».

Летом 1982 года мне позвонил из Саратова Николай Егорович Палькин, главный редактор журнала «Волга», и попросил меня написать для них статью о романе Михаила Алексеева «Драчуны», опубликованном в предыдущем году в журнале «Наш современник». Я согласился и решил прочитать все, что написал до этого о деревне писатель. После уже известной мне, прочитанной ранее повести «Карюха» – трогательной, драматической времен коллективизации истории о лошади, незаменимой помощнице в большой крестьянской семье, – неким «лирическим сиропом», казалось, было размешано повествование в других романах и повестях автора (в духе названия одного из романов «Ивушка неплакучая» – о судьбе русской женщины, не утратившей в годы суровых испытаний душевной красоты, силы любви). И читая, наконец, «Драчунов», поразительно было видеть, как правда в литературе способна выжечь все ложное вокруг себя, как недопустима при ней любая фальшь, любая красивость, велеречивость. Писатель рассказал о том, что он видел, что пережил в детстве в своем родном селе Монастырском, на Саратовщине, поведал о страшном голоде 1933 года, поразившем Поволжье, когда смерть косила массы людей: так впервые была сказана правда об этой народной трагедии, о которой до этого царило полное молчание в нашей художественной и исторической литературе (за исключением упоминания о 1933 годе в книгах того же М. Алексеева).

«Драчуны» вызвали в памяти и личное, связанное с тридцать третьим годом, когда мне было семь с небольшим лет. Голод тогда, как я могу теперь судить после «Драчунов», лишь краем коснулся наших рязанских мещерских мест. Но навсегда запомнил я слова матери: «Ничего нет страшнее голода». Она еще и по голоду первых послереволюционных лет знала, что такое хлеб из крапивы, дубовой коры, из опилок, отдающих сыростью, из гречневой мякины, после нее все тело начинало щипать, когда утром умываешься, а когда идешь по росе, как иголками прокалывает с ног до головы... Помню, как однажды, когда никого не было в избе, я зачерпнул деревянной ложкой мятую картошку из большой чашки и, услышав, как кто-то идет, подбежал к открытому окну, выходявшему в огород, и бросил ложку вниз. Но никто в дом не вошел, мне, видимо, почудилось, что кто-то идет, и было так жаль, что поторопился бросить ложку. Второй раз я не решился взять картошку, боясь, что будет заметно. И помню – в тот год и долго еще потом мечтал я о том, что, когда вырасту, буду председателем колхоза,

чтобы вдоволь есть блины. О том, голодном 1933 году я вспоминал в своей книге «Надежда исканий», вышедшей в 1978 году (глава «В родительском доме»).

Народ может извлечь исторические уроки только из полноты своего опыта, сокрытие событий глубинных, трагических способно исказить, деформировать национальное, даже религиозное сознание. Литература, «историческая наука» молчали о тридцать третьем годе, а между тем вокруг него возникали целые мистические легенды. В восьмидесятых годах посылал мне не переставая, и, видно, не одному мне, толстые конверты житель деревни с Могилевщины с машинописными отдельно сложенными листиками. В конце очередного «послания» каждый раз дата: такого-то числа, 92 года по Р. И., то есть «по Рождеству Иванова». О Порфирии Иванове многие слышали как об оригинальном человеке, который и сам жил, и других учил жить в единении с природой, ежедневно обливаться водой, ходить босиком по земле, по снегу и т. д. Но главное не это, а то, что Иванов Порфирий Корнеевич и сам себя считал, и после своей смерти продолжал оставаться в глазах своих поклонников «Господом Животворящим», основателем «новой тотальной религии», объединяющей «бывших христиан, мусульман и буддистов». У новоявленной религии нашлись последователи – «ивановцы» – среди них и тот, кто постоянно направлял мне письма с «посланиями» своих единоверцев. Но что меня поразило, так это следующее место: «Произошло это боговоплощение во время искусственно организованного голода 1933 года, когда умерло семь миллионов крестьян-христиан: коллективный народный вопль о помощи привел ко второму вочеловечению Бога. 25 апреля на Чувилкином бугре (в эпицентре голода) родился свыше Богочеловек второго пришествия – Господь Животворящий Порфирий Корнеевич Иванов».

По поводу этого «второго боговоплощения», как и миссионерских посланий с Могилевщины, я писал в своем цикле «Из памятного» в одном из номеров журнала «Молодая гвардия» восьмидесятых годов: «Может быть, кому-то это смешно, а мне от этого жутко. Голод, массовое вымирание, невероятные страдания народа, о чем у нас молчали полвека (как будто ничего этого не было), остались в недрах народной памяти и вот в данном случае обратились в болезненно-фантастическое «боговоплощение». В самом эпицентре голода. В этом видится какое-то мистическое примирение с тем, с чем нельзя, собственно, примириться исторически. Не могли пройти бесследно те ужасы, именно из этих необъятных народных страданий и исторгается идея нравственного абсолюта. Так отозвался голод 1933 года в этой духовной фантазмагории. Вряд ли что-нибудь подобное было в истории возникновения религиозных идей; это наше, увы, «русское чудо», новая социальная утопия, от которой мы никак не можем освободиться».

И в заключение у меня было сказано: «Не Крест, а «Чувилкин бугор». Но, может быть, помимо всего другого и неустройство наше, множась беды – от бесплодности наших страданий. Ибо страдания не бесплодны, когда они – с Крестом, с именем Христа, Который страдал на земле и оставил нам тайну страдания, без нее даже и великая жертвенность народа напрасна...»

Вскоре после появления этого моего ответа в «Молодой гвардии» на «миссионерство» автора с Могилевщины я получил от него письмо, в котором он обвинил меня в пособничестве... сионизму.

Приступил я к статье о «Драчунах» с решимостью прямо, без обиняков говорить, в какой мере исторический опыт народа отразился в современной литературе. Как бы ни льстила себе литература, но она на торжищах жизни

всего лишь голос, так сказать, совещательный, не решающий. Литературе не решать, а ставить проблему, предупреждать, предсказывать – и к этому может прислушиваться власть или быть глухой. Нынешняя «демократическая» власть наплевала на всякую литературу, как и на все другое, что не отзывается шелестом долларовых бумажек. Тогда литературу не оставляли без внимания, но вряд ли прислушивались к ней. Для того чтобы к ней прислушивались, литература должна прежде всего уважать себя, должна обрести сознание собственного досто-

инства, как та нравственная сила, которая нужна людям, обществу, народу, государству. До этого сознания мало кто поднимался. Тон задавала «секретарская литература», книги многочисленных секретарей – Союза писателей (СССР, РСФСР, Московской писательской организации и т. д.). Помимо особых квартир, помимо дач «полагались» им, как правило, издание их собраний сочинений, Государственные и прочие премии, повышенные гонорары и проч. И не мудрено, что при таком положении дел эти «классики» держали курс не на народ, не на государство, а на «высокое начальство».

Помню, во время нашей – членов редколлегии журнала «Молодая гвардия» – встречи с секретарем ЦК КПСС П. Н. Демичевым я обратил внимание: весь угол его большого кабинета, как поленицей дров, был завален книгами. Оказывается, это были дарственные книги писателей партийному идеологу. Любопытно было бы собрать эти дарственные надписи воедино: вот был бы портрет верноподданнической литературы. Туда, на Старую площадь, где размещался ЦК партии, где засели яковлевы-беляевы, – туда и вострила свой взгляд ловкая часть братьев-писателей в расчетах угоднических и потребительских.

Если по отношению к идеологическому «начальству» писатель был покорным исполнителем «указаний сверху», то совершенно менялась его роль по отношению к народу: здесь он считал себя «воспитателем», был убежден, что «формирует народный характер». И уверял себя и читателей, что писатель «за все в ответе». Как-то в одной из своих статей (в «Комсомольской правде» в середине шестидесятых годов) я позлословил по поводу этого взваленного на себя бремени: какое уж там «за все на свете в ответе», ты хотя бы за себя отвечал, за свое слово, хотя бы получше писал, не водил пером по бумаге, как курица лапкой. И как же возмутились ответчики «за все на свете». Так же, как впоследствии возмутились сказанным мною (уже в статье о «Драчунах») о тех писателях, которые настолько залитературились, настолько вознеслись во мнении о «собственной миссии», что забыли, бедные: никакие они не «формировщики» народной души, никакие не попечители, не отцы ее, а всего лишь детки (часто беспризорные), которым впору бы подумать о приведении в порядок, о «формировании» души собственной, прежде чем приступать к «формированию народной души». Ведь еще Гоголь говорил, обращаясь к писателям: «Сначала образуй себя, а потом учи других». Первая часть этого завета была не в моде, зато со второй все было в порядке: писатели вовсю старались учить других. Но никуда не денешься от закона в литературе: сколько вложено, столько и отзовется. И если в себе ничего нет, кроме дара приспособленчества, кроме духовной, душевной мелкости, равнодушия к тому, о чем пишешь, – то чем же могут отозваться в читателе любые твои поучения?

По мере работы над статьей одно сцеплялось с другим, литературное с личным, историческим, и самого меня вело по прямому пути, изменить которому я не мог по зову совести. Собственно, ничего особенного здесь и не было, обычное вроде бы дело, что и должно быть в критике, – соотнесенность литературы и жизни, историзм литературы, которой нельзя изменять узкой идеологичностью без ущерба для самой же идеологии, сила которой всегда в осознании своей исторической правды. Видя на практике, какой существует разрыв между историческим опытом народа и, с другой стороны, литературой, ставшей уже казенной идеологией, я не мог не предвидеть, как будет встречена моя статья на эту тему людьми, не признающими за писателем права ставить проблемы, предупреждать о грозных симптомах в общественной, государственной жизни. Как показали последовавшие вскоре события, страна двигалась к краю пропасти. Пятая колонна, породившая Горбачева, готовилась к захвату власти изнутри, в недрах ЦК (усилиями всяческих сионистских «помощников», «экспертов», «консультантов»), с помощью амбивалентной марксистско-ленинской идеологии разлагая государственные устои. А в это же время «верные ленинцы», как страусы пряча головы в песок, не желали видеть реальности происходящего и ничего, кроме «пролетарского интернационализма», не хотели знать. Отправил я свою статью под названием «Освобождение» в «Волгу» (за статьей приезжал

работник журнала В. Бирюлин) и стал ждать не без тревоги, что будет дальше, когда она была опубликована в десятом номере «Волги» за 1982 год.

10 ноября 1982 года умер Брежнев. Через день я пришел в Литинститут, чтобы оттуда вместе с другими (обязаны!) идти в Колонный зал для прощания с покойным. На кафедре творчества я увидел Валентина Сидорова, – как и я, он работал руководителем семинара. Он стоял у стола, более, чем всегда, ссутулившись, отвислые губы подрагивали. «Пришел к власти сионист», – поглядывая на дверь, ведущую в коридор, вполголоса произнес он и добавил, что этого и надо было ожидать при вечной взаимной русской розни. Я промолчал, зная, какие средства имеются у «Махатмы» (так называли Валентина Сидорова его знакомые литераторы) против этой розни – «надрелигиозное ученье» Рериха и Блаватской с антихристианской подкладкой.

От Литинститута до Колонного зала, где происходило прощание с Брежневым, совсем недалеко, но шли мы какими-то окольными улицами, так что подошли к Дому Союзов незадолго до его закрытия. И поднимались по лестнице, подгоняемые прикрикиванием милиционеров: «Побыстрее! Побыстрее!»

Андропов. Теперь Андропов! Что нас ждет? И что ждет меня после моей статьи, уже вышедшей в свет? Взгляд сквозь очки – строго испытующий, со зловещинкой. Вскоре дала о себе знать «твердая рука» нового правителя. Стали хватать в рабочее время людей в магазинах, на рынках, в банях – в целях «наведения порядка». Следовало ожидать нечто подобное и в идеологии. И первое как бы предупреждение получили «русисты» (как называл Андропов «русских националистов»), когда он, новый генсек, в своей речи к 60-летию СССР, 21 декабря 1982 года, назвал дореволюционную Россию «тюрьмой народов».

Тогда же узнал я о «проработке» своей статьи «Освобождение» в ЦК КПСС. Вот что пишет об этом свидетель происшедшего Михаил Алексеев, автор романа «Драчуны»: «В Центральном Комитете партии под председательством секретаря ЦК М. В. Зимянина было проведено экстренное совещание главных редакторов всех столичных изданий, где было и произведено судилище над статьей Лобанова и над главным редактором «Волги» Н. Палькиным, опубликовавшим в 10-м номере за 1982 год эту статью. Будучи редактором журнала «Москва», я присутствовал на том памятном совещании, но именно как редактор, и вроде бы разыгравшаяся трагикомедия вокруг «Драчунов» меня вовсе не касается, а виноват лишь, мол, Лобанов, истолковавший роман в антисоветском духе. В результате главного редактора «Волги» Н. Палькина сняли с работы, М. П. Лобанова, как по команде (а может быть, не «как», а точно по команде), начали яростно прорабатывать едва ли не всеми средствами массовой информации и чуть было не отстранили от преподавания в Литературном институте» (Михаил Алексеев. Избранные сочинения в трех томах. М.: Русское слово, 1998).

Забегая вперед, хочу передать то, что рассказал мне сын Михаила Васильевича Зимянина – Владимир Зимянин, международник, работник Министерства иностранных дел. Уже во времена «перестройки», находясь на пенсии, Михаил Васильевич просил сына передать мне, чтобы я не обижался на него за то судилище над моей статьей, потому что «все шло от Юры», как называл он по старой комсомольской привычке Юрия Андропова, давшего ему добро на проработку (с соответствующим решением ЦК по этому же вопросу).

Как-то неожиданно для меня было узнать об этом «покаянии», видно, осталось в этом высокопоставленном партийце нечто живое, казалось бы, немыслимое после тех идеологических медных труб, сквозь которые он прошел.

Но каково конкретно было отношение к злополучной статье непосредственно самого Юрия Владимировича Андропова? В 1994 году в Германии, а затем в 1997 году в переводе на русский язык в Москве вышла книга немецкого историка Дирка Кречмара «Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985 гг.». В этом по-немецки обстоятельном исследовании приводится, в частности, содержание беседы Ю. Андропова с первым секретарем

рем СП СССР Г. Марковым вскоре же после решения ЦК КПСС о журнале «Волга» и моей статье. «Андропов с сожалением вспомнил в этой связи о статье Лобанова, которая послужила поводом для издания постановления, и сказал, что партийный комитет Саратова «должен еще принять меры». Эта статья «поднимает руку на то, что для нас священо», прежде всего на коллективизацию и Шолохова. Кроме того, она предпринимает попытку ревизии мер партии в 30-е годы, несмотря на то, что «жизнь полностью доказала их правоту»». (Содержание беседы дается со слов Г. Маркова на заседании секретариата правления СП СССР от 12 апреля 1983 года. Архив СП СССР, оп. 37, № 1036.)

Честно говоря, когда я писал статью, никакого замысла «поднимать руку» на коллективизацию и Шолохова у меня не было. В статье есть такие три фразы: «Если в «Тихом Доне» Шолохова гражданская война нашла выражение глубоко драматическое, то равные ей по значению события коллективизации в «Поднятой целине» звучат уже совершенно по-иному, на иной, бодрой ноте. Различие между этими двумя книгами одного и того же автора знаменательно. Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу, учит земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев – это не просто герой-«двадцатипятилетний», но и некий символ нового, волевого отношения к людям». Вот и все, что сказано о коллективизации и Шолохове в статье размером в шестьдесят с лишним машинописных страниц. Конечно, «на бодрой ноте» – не те слова в отношении «Поднятой целины». Недавно я перечитал этот роман и убедился, что в нем (в первой книге, вторая слабее) чувствуется художническая рука автора «Тихого Дона». Но тогда я имел в виду, главным образом, героя романа Давыдова, питерского рабочего, и даже его прототипа Плоткина, который учит исконных земледельцев, как работать на земле. Что же касается Шолохова, то с его «Тихим Доном» у меня была связана целая жизненная история. Выпускником МГУ я защитил на отлично дипломную работу на тему «Колхозное крестьянство в произведениях современных советских писателей». Мой руководитель, завкафедрой советской литературы Евгения Ивановна Ковальчик, и оппонент, доцент Дувакин, на защите всю расхваливали мою критическую работу (а Евгения Ивановна отметила ее как лучшую в «Комсомолии» – в знаменитой тогда огромной, метров десять длины, стенгазете в коридоре филфака). В аспирантуру выдвигались «общественники», каковым я не был, но она и не прельщала после того, как я прочитал «Тихий Дон» и был потрясен художественной силой его. Меня потянуло туда, где жил и творил Шолохов, и после окончания МГУ в 1949 году я поехал в Ростов-на-Дону по вызову, который мне устроил мой дядя по матери Федор Анисимович Конкин, работавший секретарем одного из райкомов партии города. Помню, когда поезд мчался по донской земле, я из окна вагона смотрел на расстилающиеся степи и все думал: неужели этот великий писатель живет в наше время?

А в Ростове жизнь распорядилась совсем не так, как я предполагал. Поступив на работу в редакцию областной газеты «Молот», я рассчитывал поехать по донской земле, по местам гражданской войны. Скрутил меня туберкулез легких, который переборол романтику, хотя от того благоговение перед творцом «Тихого Дона» не исчезло. И когда спустя десять лет, уже живя в Москве, приехал я в Ростов и благодаря Анатолию Калинину оказался среди других литературных гостей Шолохова в гостинице «Дон» – то сплошным переживанием для меня были те долгие часы, когда я слушал и смотрел на писателя. Видно, глубоко засел во мне образ автора «Тихого Дона», овеянный трагизмом времени, что вот и тогда, на той встрече, в живом Михаиле Александровиче я видел того Шолохова. (О встрече с Шолоховым я рассказал в журнале «Слово» в начале девяностых годов.) И в своей литературной работе я не скрывал своего преклонения перед автором гениального «Тихого Дона», творцом образа Григория Мелехова, сына «серединного народа», который своими поступками, действиями, кровавыми схватками в бою расплачивался за умственные спекуляции, «поиски обновления» героев из интеллигенции типа толстовского Пьера Безухова (об этом моя статья «Тихий Дон» и русская классика» в книге «Надежда исканий». – М., 1978).

Так что я никак не могу признать справедливым обвинение меня в том, что я «подымал руку на Шолохова».

В недавно вышедшей книге Т. Окуловой-Микешиной «Бесовщина под прикрытием утопий» впервые исследована роль в разрушении великой державы такой касты, как советники из числа западников-космополитов последних советских вождей, начиная с Хрущева. Об истории возникновения этой касты рассказывает один из подобных советников Г. Шахназаров в своей книге «Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника». «Это была первая группа такого рода. В какой-то мере ее создание было навеяно опытом американцев. Как раз в те годы президент Кеннеди привлек к себе на помощь для совета специалистов из числа крупных политологов, историков, экономистов. В моду входили так называемые мозговые атаки, предлагавшие правителям всеер альтернативных решений. Нечто вроде этого задумал только что возведенный в сан секретаря ЦК КПСС заведующий отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Юрий Владимирович Андропов». По признанию мемуариста, эта группа была «своего рода инородным телом в чиновничьем организме, какой представлял собой аппарат ЦК КПСС». По его же словам, в политической жизни противостояли два лагеря: «в одном – великодержавники, славянофилы, или евразийцы, в другом – западники, интеграллисты, или космополиты». Новоиспеченная группа консультантов Андропова и состояла исключительно из западников-космополитов, таких, как Г. Арбатов, Г. Шахназаров, А. Бовин, А. Черняев, Ф. Бурлацкий и т. д.

В своих мемуарах Ф. Бурлацкий бахвалится, что Андропов называл его и других своих консультантов «духовными аристократами». Заметим, не то, что нас, «славянофилов», – презрительным словом «русисты». Читая мемуары этих «духовных аристократов», видишь, сколько высокомерия и презрения у этой ядовитой, поистине инородной публики к «серой массе» цеховских работников, в том числе и к самим членам Политбюро из русских, и вместе с тем как дружно, образуя неразрывный круг, демонстрируют они свои «особые отношения» с Андроповым, сначала секретарем ЦК КПСС, а затем генсеком – вплоть до того (как рассказывает об этом Бурлацкий), что Юрий Владимирович доверительно почитывал им свои стихи, дружеские стихотворные послания, чем, оказывается, он увлекался.

Недавно в нашей печати (газета «Советская Россия», 8 апреля 2000 года) приводились слова заместителя госсекретаря США Тэлботта о том, что академик Арбатов стал «другом Америки» еще с семидесятых годов. В качестве агента влияния в интересах США действовал он и как консультант в ЦК КПСС. Ему были всегда открыты двери кабинетов генсеков... Вот одна из историй. Партийная комиссия во главе с одним из членов Политбюро при проверке работы академического Института мировой экономики установила факты «засоренности института сионистскими элементами», пришла к выводу, что «институт дезориентировал руководство страны относительно процессов, происходящих в мире». Директор этого института Н. Иноземцев оказался, что называется, в подвешенном состоянии. И тогда на выручку своему другу и единомышленнику бросился Арбатов. Как он сам рассказывает в своих мемуарах «Затянувшееся выздоровление (1953–1985 гг.)», придя к Брежневу в его кабинет, он начал обвинять парткомиссию в необъективности, клевете на директора Института мировой экономики, и первой же реакцией Леонида Ильича на эти слова было то, что, положив руку на телефон, он спросил: «Куда звонить?» И этот звонок генсека в присутствии Арбатова прекратил расследование преступной деятельности агентов влияния. Как пишет автор названной выше книги «Бесовщина под прикрытием утопий»: «Насколько обоснованными были выводы комиссии, можно судить и по тому, что бывший сотрудник этого института Д. Сайме после эмиграции в 1973 году в США стал там консультантом Совета по разведке ЦРУ». Со вступлением Андропова на высший пост в партии панибратское отношение с ним Арбатова приняло такой наглый характер, что новый генсек счел нужным в письме к «академику» несколько урезонить его. Сам поклонник, опекун «интернационалистов»-космополитов в литературе и театре, вроде

шатровых, юриев Любимовых, евтушенок, Андропов не нуждался в арбатовском оголтелом навязывании ему роли апологета еврейской «творческой интеллигенции». Тем более что всему должно прийти свое время...

В том же докладе к шестидесятилетию СССР, где он назвал дореволюционную Россию «тюрьмой народов», Андропов ратовал за «слияние наций» в одну «советскую нацию», прекрасно, конечно, зная, что есть одна нация, заинтересованная в «слиянии наций» и которая сама никогда ни с кем не сольется, – это народ по имени «И.». И в этом вопросе его консультанты оставались, разумеется, все теми же «духовными аристократами». В ЦК партии при Андропове проблемами национальных взаимоотношений в стране занимался А. Бовин, зав. группой консультантов. С наступлением «перестройки» он начал открыто проповедовать, как обозреватель «Известий», то, что раньше попридерживал до лучших времен. В газете «Московский литератор» (25 мая 1990 года) я привел факт, как на I съезде народных депутатов РСФСР из редакционной комиссии был исключен главный редактор «Советской России» В. Чикин за публикацию в этой газете «Манифеста антиперестроечных сил», извест-

ной статьи Нины Андреевой. И далее я писал: «Почему бы во времена хваленного «плюрализма» не дать слово и этому автору? (Нине Андреевой.) Ведь печатают же небесспорные материалы в других газетах, скажем, статьи А. Бовина с яростной защитой сионизма («Известия», № 239 за 1989 год, № 21 за 1990 год), но от того главный редактор этой газеты И. Лаптев не подвергался же политической обструкции, а, напротив, даже преуспел, оказавшись выбранным председателем Совета Союза Верховного Совета». Вскоре после этого бывший консультант Андропова сионистский идеолог А. Бовин отбыл в Израиль в качестве посла России на «обетованной земле».

Оголились при Горбачеве, сбросив с себя показные идеологические покровы, и другие бывшие генсекские консультанты. (Экс-шеф ЦРУ Гейтс пишет в своих воспоминаниях: «ЦРУ с энтузиазмом отнеслось к Горбачеву с момента его появления в начале 1983 года как протеже Андропова». Кстати, с приходом Андропова к власти вернулся из Канады в Москву оголтелый русофоб А. Яковлев, ставший его ближайшим советником, а при Горбачеве – «главным архитектором перестройки».)

Таким образом, из всего сказанного выше видно, что представлял собою круг духовно близких Андропову людей и что, собственно, стояло за осуждением им моей статьи «Освобождение». Не могла найти в данном случае сочувственного понимания и моя ссылка в этой статье на Штокмана из «Тихого Дона», революционера-троцкиста, который натравливает одну часть казачества на другую его часть (Мишку Кошевого на Григория Мелехова) и считает «опаснее остальных, вместе взятых» Григория Мелехова, требуя его поимки и расстрела именно как представителя «серединного народа», сердцевины его.

О, тогда мне было не до этих рассуждений! Жуткая тень не просто КГБ (где работали разные люди и где, конечно же, были скрытно сочувствующие русским патриотам), а самого Андропова нависла над моей бедовой головой. Предстояло только ждать своей участи. Незадолго до этого подвергся допросу в КГБ историк С. Н. Семанов за хранение купленных им номеров машинописного русского патриотического журнала «Вече», который редактировал В. Н. Осипов. Тогда же С. Семанов был снят с поста главного редактора журнала «Человек и закон». Как стало известно впоследствии, этому предшествовала секретная записка Андропова в Политбюро, в которой речь шла и о Семанове как «русском и антисоветском элементе». И вот теперь мы оба, знавшие друг друга со второй половины шестидесятых годов, давние «молодогвардейцы», оказались в схожем положении. Мы встретились с ним около его дома, на Большой Дорогомиловской улице, рядом с Киевским вокзалом. Долго петляли как зайцы по переулкам и дворам, по привокзальной площади, остерегаясь быть услышанными даже и там, хотя чего вроде бы таиться и скрывать – как «русисты» мы были все на виду в своих писаниях. По крайней мере, так я мог сказать о себе, когда писал, стараясь уйти в «русский

дух», в чем виделось мне наиболее действенное противостояние разлагателям России. Сколько я ни общался до этого с Сергеем Николаевичем, все казалось теперь празднословным в наших прежних отношениях, и только сейчас что-то новое холодком общей опасности коснулось нас обоих. Оба мы, видимо, смахивали в чем-то на окруженцев, и командиром моим был в этих знакомых ему местах Семанов, уверенный, что за ним следят и надо замечать следы.

Между тем пущенная в ход по приказанию генсека идеологическая машина набирала обороты. Заведующие отделами ЦК КПСС – агитации и пропаганды Б. Стукалин, культуры – В. Шауро послали докладную записку в секретариат ЦК партии с осуждением моей статьи. И того, и другого я никогда не видел в лицо и позднее мог составить представление о них, встретившись с ними.

Набросились на меня борзописцы, первыми П. Николаев, Ю. Суровцев, В. Оскоцкий – давние мои попечители. Сегодняшнему читателю эти фамилии ничего не говорят, но тогда это была одиозно известная (во всяком случае, в литературных кругах) свора отпетых русофобов – достойных папашек нынешних «демократических» телекиллеров. Прошло три с половиной года после той истории с моей книгой об Островском, когда Николаев, о чем рассказывалось выше, так тешил себя ролью распорядителя травли, за это время он заматерел в этой роли и теперь, с выходом решения ЦК по моей статье, первым вылез добивать осужденного. «Освобождение... от чего?» – многозначительно назвал П. Николаев свою статью, опубликованную в «Литературной газете» 5 января 1983 года. По поводу названия этой статьи автор «Драчунов» М. Алексеев пишет в том же послесловии к трехтомнику, что я подвергался нападкам «за то, что первый указал, чего может добиться писатель, освободившись от внутренней цензуры, раскрепостив и душу, и перо свое, – это и только это продиктовало умному и честному критику и заголовок, и все, что сказано им под этим заголовком». И у меня в статье сказано: «Не решившийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году – упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было». Вроде бы ясно, о каком освобождении идет речь, но моему обличителю требуется политическая улика, и вот он «расшифровывает» заголовок статьи как освобождение от всех социалистических основ, как неприятие коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, «завоеваний советской литературы» и т. д.

Вслед за Николаевым лягнули меня В. Оскоцкий в газете «Литературная Россия» 21 января 1983 года, Ю. Суровцев в «Правде» 13 февраля 1983 года. Как Николаев партвластью был наделен некоей функцией идеологического надзора над литературой, правом «вершить суд» над неугодными писателями, так Суровцев являлся недреманным оком по части разоблачения фабрикуемой им же самим «опасности русского шовинизма». В должности секретаря Союза писателей СССР он «курировал национальные литературы», разъезжал по республикам страны, по рашидовым-шеварднадзам-алиевым, раздуваясь, как клоп, на паразитировании казенно-интернационалистской «дружбы народов». И всюду, куда ни приезжал, сеял русофобию, ненависть к «захватнической, колониальной политике царской России», дразнил «опасностью русского шовинизма», науськивал местных националистов на русских людей. Ему были открыты двери всех партийных изданий, где он свободно мог навесить на нежелательное лицо любой ярлык. Ныне ставший «демократом», этот тип уже без прежних партийно-классовых масок в открытую называет своего главного врага, объявив в печати, что он пишет книгу «Конец русской идеи». Не рано ли торжествуешь!

«У страха глаза велики!» Вспомнилась мне Лубянка, где я был осенью 1966 года по делу моего литинститутского «семинариста» Георгия Беякова...

Первое, о чем я подумал в наступившем для меня безвременье, – это устранение возможных улик. Собственно, никаких улик и не было, но мало ли что... В свое время Илья Глазунов дал мне изданную за рубежом книгу Солженицына «Ленин в Цюрихе» с портретом на обложке

вождя какого-то склеротического облика в зловеще-кровавом отсвете. Видя мое колебание (брать – не брать), он уличил меня в непонимании, что на эту книгу найдется масса охотников, готовых платить за нее большие деньги, а я даром не беру из-за трусости советского человека... И тут же предупредил, как бы отталкиваясь от меня жестом поднятых перед собою рук, что если я выдам его, то он объявит, что этого советского человека он не знает, видит в первый раз. (До этого я не раз был в его мастерской.) Для Ильи Сергеевича суть была, видимо, не в Солженицыне, а в самом Ленине, которого он недолюбливал, именуя «картавым». Впоследствии я лучше узнал Илью Глазунова, читая лекции в созданной им Академии живописи и ваяния, и оценил по-настоящему этого феноменального во многих отношениях художника и человека, его поистине великие заслуги в выращивании молодых русских художников-реалистов. Что же касается врученной мне книги, то в ней больше путающего себя с Лениным Солженицына, чем Ленина (недаром Александр Исаевич, как мне передавала по телефону первая его жена Наталья Решетовская, считал, что он похож на Владимира Ильича, и потому так охотно пишет о нем). Читать я ее никому не давал, и вот пришел черед аутодафе для нее. Жил я тогда в «хрущевке» на Бескудниковском бульваре, в крохотной однокомнатной квартирке, заваленной книгами, и, с трудом разыскав ту злополучную, приступил вместе с дочерью Мариной к сожжению ее в туалете. До чего же долго, чадно тлели клочки разорванных страниц, особенно куски глазурованной, с багровыми отсветами обложки.

Наступила пора моей домашней блокады. Безмолвствовал телефон, замолкли знакомые. Вдруг звонок из Твери. Звонит Петр Дудочкин, который до этого присылал мне свои статьи против пьянства, спаивания народа. Говорит о моей статье, кричит: «Рыба плывет нереститься против течения!» В Литературном институте узнаю, что на занятии по текущей литературе Н. Томашевский поздравил студентов... с выходом моей статьи. Лично я не был знаком с ним, знал его как автора честной вступительной статьи к двухтомнику Константина Воробьева, изданного в Прибалтике. Потом я познакомился с ним, вместе выезжали в 1989 году в Курск, на родину Воробьева, в связи с его юбилеем – восьмидесятилетием со дня рождения, как-то он засиделся допоздна у меня в номере гостиницы и все рассказывал о Воробье, как любовно называл он Константина Воробьева, признавался, как много значил этот писатель в его жизни, сколько он натерпелся от его резкого, трудного характера и все мог простить ему за незаурядность его личности и таланта. О Константине Воробьеве писал и я в своей статье «Освобождение», но мог бы добавить и нечто из личных встреч – как впервые, кажется, летом 1960 года, встретился с ним на квартире Михаила Карунного, в доме против Военторга, в центре Москвы. Карунный заведовал отделом прозы в издательстве «Советская Россия», где и выходила тогда первая в Москве воробьевская книга. Сразу же у меня с Воробьевым произошла схватка из-за Леонова: я тогда был, можно сказать, одержим любовью к Леонову (в 1958 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга «Роман Л. Леонова «Русский лес»»), мерилom моих симпатий к писателям было их отношение к Леонову. Доходило до анекдотичности. Как-то в статье одного публициста, помнится, Н. Грибачева, мелькнула отрадная для меня фамилия, и вроде бы сам этот публицист стал для меня другим. Но, увы, фамилия-то была не Леонов, а Лесков, и автор тут же стал для меня прежним Грибачевым (дело было не в Лескове, он и без того Лесков, а Леонов наш современник, недооцененный, как я думал, по достоинству). Мы оба с Воробьевым кричали, один вознося непомерно Леонова, другой ругая его чуть ли не как графомана. Синь глаз моего литературного противника вонзалась в меня льдинками неприязни, напряженные мышцы лица искажали ту его волевою чистоту, которая бросилась мне в глаза, как только я тогда увидел его. Все-таки мы и в тот раз отошли от взаимной горячки, а позже в издательстве «Советская Россия» встретились уже как добрые знакомые. Со временем, лучше узнав его как писателя, я понял, что ему, с его «жгучей правдой войны», с его жестким характером «правдолюбца», не до леоновской «велеречивости», как он довольно предвзято судил о творчестве Леонида Максимовича. Но закончу о верном поклон-

нике «Воробья» – Н. Томашевском. Не знал я никого из своих знакомых, кто бы так, как этот не русский по национальности человек, предан был памяти близкого ему русского писателя. Вспомнилась мне его слабая, чуть виноватая улыбка, когда я узнал о смерти, настигшей его в далекой от Москвы деревне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.